

Витторио Страда

Достоевский — наш современник

ненных слова; здесь будет подан знак о конце света, и Париж разрушится в крови и пожаре, со всем, что составляет его гордость, со своими театрами и своим Английским кафе". Вогуэ иронически замечает:

"В воображении предсказателя это заведение представлялось пупом содомским, вертепом с адскими прельстительными оргиями, которые нужно было подвергнуть проклятию, и дело с концом. Он долго и красноречиво пророчествовал на эту тему".

Сегодня мы могли бы поиронизировать покрепче, чем французский дипломат: Английское кафе и Париж, символы "старого света", стоят как стояли, а "три огненных слова" появились не на стенах Запада, а на стенах России, которая в этом столетии "разрушилась в крови и пожаре".

Как с позиций Достоевского объяснить тот факт, что апокалиптическая катастрофа, пусть и не совсем миновавшая "старый свет", обрушилась на русский православный мир, символически составлявший спасительную альтернативу западному "разложению"? Достаточно ли думать о тлетворном влиянии Запада, который, начиная с петровских времен, заразил непорочный мир Святой Руси? Как тогда объяснить, почему этот мир — христианская антитеза западного антихристианского мира — не сумел спасти себя, а не то что осуществить свою миссию универсального спасения?

Конечно, при провиденциальном взгляде на историю можно было бы сказать, что Россия, сосредоточив в своем теле принесенную с Запада заразу, из святой превратилась в безбожную и защитила последний, принеся себя в жертву. Но даже если и слепо принять на веру такое "объяснение", так ли уж безусловно опасен "старый свет"? Разве не страдает он новым недугом вселенского масштаба, после того как Россия прошла испытания кровью и огнем? И можно ли вообще говорить о спасении в рамках истории и о ком-то или о чем-то, что в ней может спасти?

Достоевский, наш современник, помогает нам, живущим в "достоевском" и "постдостоевском" мире, ответить на эти вопросы.

На вопрос о причинах краха Святой Руси непревзойденный по ясности ответ дает Достоевский-художник. Парадоксально, что "три огненных слова", предвещающих погибель, пророчески начертал сам Достоевский. Но только начертаны они были не на стене Английского кафе, а на стенах Кремля и Зимнего дворца.

Это страшные и несмыслимые слова "Бесов" — романа, предвосхитившего историю нашего столетия, в особенности русскую.

Читая "Бесов", невозможно усомниться в том, что Святая Русь была обречена и поражена недугом худшим, чем Запад, который, разумеется, обманывался насчет своего будто бы совершенного здоровья, поддерживаемый стойким и жизнерадостным гуманизмом: когда его организм выслушивали такие диагнозы, как Достоевский и Ницше, они знали, что и Запад болен. Хотя и не так неизлечимо, как Россия, вопреки тому, что говорил и писал Достоевский — не автор романов, а пророк и утопист.

Мы не будем анализировать возможные ответы на другие поставленные здесь вопросы, в сущности являющиеся следствием основного вопроса, на котором мы только что останавливались.

Важно понять, что Достоевский в своих полифонических романах описывает картину явлений современного ему и нам мира, что позволяет нам находить адекватные ответы и идти дальше самого Достоевского, за рамки его спасительной идеологии и, если угодно, в разных направлениях от этой идеологии.

Задача в том, чтобы обрести новую форму гиперсознания, которое включало бы и Достоевского с его миром, и мир, каков он стал после Достоевского. И еще не сказано, что эта задача разрешима, и, более того, вряд ли она кому по плечу в наши дни — время духовного и нравственного оскудения.

Но потребность эта остается как продолжение "достоевской" диалогичности, которая не может фиксироваться в какой-либо неподвижной точке монологического характера, даже точке христианской утопии Достоевского.

Впрочем, само христианство писателя имеет диалогическую природу, оно открыто сомнению, преодолевает его и заново выдвигает: это парадоксальная вера, ибо, если в конфессиональном плане застывает в определенной доктрине и Церкви, то в плане переживаний и воображения, то есть поэтико-повествовательном, оно не назидательно догматично, а открыто мучительнейшим, но плодотворным внутренним конфликтам.

Именно такое христианство возможно в эпоху нигилизма, который христианство породило как свою логическую антитезу, нигилизма, получившего в романах Достоевского глубокое и разное воплощение: от созерцательного и самоуглубленного нигилизма "подполья" до активного и организованного нигилизма "бесов", а также нравственного нигилизма Раскольникова и проблематичного нигилизма Ивана Карамазова.

Достоевский не мог не чувствовать в самом себе чудовищную силу этого многоликого нигилизма, противоядием которому могло стать лишь его мятущееся христианство. Он, познавший слепую революционную страсть и изживший в себе этот губительный опыт, признавался, что "бесом", как Нечаев, не мог бы стать, а вот нечаевцем, пожалуй, да. Он, вкладывавший аргументы удивительной по убедительности силы в уста таких своих персонажей, как "человек из подполья" и "Великий инквизитор".

Этих персонажей можно определить как "отрицательных" только подчиняясь прямолинейной, но никак не диалогической логике, в которой положительное и отрицательное не уничтожается взаимно, а имеет зыбкие и подвижные границы и априори неопределимы.

Заклчить эти наши размышления невозможно не только потому, что они по необходимости кратки, чересчур кратки по сравнению с масштабом сложного художественного мира Достоевского, но и потому, что жесткое заключение представляло бы собой нечто "антидостоевское".

Достоевский, наш современник в мире, являющемся продолжением его мира и не могущего от него не отличаться, сопровождает нас в ночных скитаниях, не лишая надежды на свет и памяти о свете, но и не обнадеживая, что этот свет обязательно будет, и не гарантируя от миражей и галлюцинаций.

Продвигаться в ночи не обязательно значит блуждать в потемках, если обладаешь способностью видения, какое было у этого европейского "Скифа" и которое его романы и весь опыт его жизни могут частично передать нам.

Венеция

Окончание.

Начало в "PM" №4156.

Если мы разложили здесь на теоретические и культурные определения смысл того переворота в "наших интеллектуальных привычках", который так поразил в конце прошлого века Вогуэ, то для Достоевского и в Достоевском весь этот комплекс стимулов и мотивов действовал не отвлеченно, хотя, как мы знаем, он был не только гениальным художником, но органически сочетал литературное творчество с постоянными теоретическими, политическими, социальными, религиознымимышлениями.

Величие Достоевского, то, что заставляло видеть в нем "монстра" или "явление иного мира", уникальное "по самобытности и яркости", заключается в том, что весь комплекс его идей становится мощным импульсом и орудием поэтического вымысла и порождает новый тип романа, названного Михаилом Бахтиным "полифоническим".

В таком романе диалектическому видению, приводящему к утешительному синтезу противоположностей в последовательности поступательных моментов, противостоит и заменяет его диалогическое сознание, открытое никогда не прекращающему сопоставлению и динамическому сосуществованию "голосов" или "точек зрения и оценок". Внутри этого сопоставления позиция автора не сводится на нет, поскольку ее принципиальная диалогичность обеспечивает романную диалогичность, не навязывает себя авторитарно героям, стоящим на других позициях.

Авторское сознание есть своего рода гиперсознание, в горизонте которого находится сознание и самосознание героев, воспринимающее пульсации индивидуального и коллективного бессознательного.

В отрывке из главы, посвященной Достоевскому, Вогуэ вспоминает разговор с автором "Преступления и наказания" о Париже, когда тот выражается так, как Иона говорил бы о Ниневии, "с горячностью библейского негодования".

Вот слова, сказанные Достоевским изумленному французскому дипломату: "Однажды ночью появится в Английском кафе пророк и начертает на его стенах три ог-